

Всероссийская олимпиада школьников по литературе 2018/2019 учебный год
Муниципальный этап, 11 класс
Время выполнения – 300 минут

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по литературе проходит в один день. При проведении олимпиады необходимо выделить несколько аудиторий для каждой параллели. Участников олимпиады желательно разместить по одному человеку за партой. Наличие в аудитории дополнительного материала (текстов художественной литературы, словарей разных видов, средств мобильной связи) исключается. Работы участников предварительно шифруются. Работы пишутся только в прозаической форме. Работа должна быть независимо проверена и подписана не менее чем двумя членами жюри. Участникам муниципального тура олимпиады предлагается выполнить два типа заданий: аналитическое и творческое. Время выполнения первого задания — 3,5 астрономических часа (210 минут), максимальный балл — 70. Время выполнения творческого задания — 1,5 астрономических часа (90 минут). Максимальный балл — 30. Максимальный общий балл за работу — 100, время выполнения заданий — 5 астрономических часов (300 минут).

Оценка за работу выставляется в виде последовательности цифр — оценок по каждому критерию. Обязательно оцениваются:

1. Понимание произведения как «сложно построенного смысла» (Ю.М. Лотман), последовательное и адекватное раскрытие этого смысла в динамике, в «лабиринте сцеплений». Максимально 30 баллов. Шкала оценок: 0 — 10 — 20 — 30.

2. Композиционная стройность работы и ее стилистическая однородность. Уместность цитат и отсылок к тексту. Максимально 15 баллов. Шкала оценок: 0 — 5 — 10 — 15.

3. Владение теоретико-литературным понятийным аппаратом. Максимально 10 баллов. Шкала оценок: 0 — 3 — 7 — 10 .

4. Историко-литературная эрудиция, отсутствие фактических ошибок, уместность использования фонового материала из области культуры и литературы. Максимально 10 баллов. Шкала оценок: 0 — 3 — 7 - 10

5. Общая языковая и речевая грамотность. Максимально 5 баллов. Шкала оценок: 1 — 2 — 3 — 5 .

Максимальный балл — 70 баллов.

Задания выдаются вместе с критериями их оценивания.

Проведите целостный анализ текста (прозаического ИЛИ стихотворного) — на выбор!

Комплексный анализ стихотворного текста

В. Луговской

Песня о ветре

Итак, начинается песня о ветре,
О ветре, обутом в солдатские гетры,
О гетрах, идущих дорогой войны,
О войнах, которым стихи не нужны.

Идет эта песня, ногам помогая,
Качая штыки, по следам Улагая,
То чешской, то польской, то русской речью —
За Волгу, за Дон, за Урал, в Семиречье.
По-чешски чешет, по-польски плачет,
Казачьим свистом по степи скачет
И строем бьет из московских дверей
От самой тайги до британских морей.

Тайга говорит,
Главари говорят,-
Сидит до поры
Молодой отряд.
Сидит до поры,
Стучат топоры,
Совет вершат...
А ночь хороша!

Широки просторы. Луна. Синь.
Тугими затворами патроны вдвинь!
Месяц комиссарит, обходя посты.
Железная дорога за полверсты.
Рельсы разворочены, мать честна!
Поперек дороги лежит сосна.
Дозоры — в норы, связь — за бугры,-
То ли человек шуршит, то ли рысь.

Эх, зашумела, загремела, зашурганила,
Из винтовки, из нарезка меня ранила!

Ты прости, прости, прощай!
Прощевай пока,
А куда обещаю
Не беречь бока.
Не ныть, не болеть,
Никого не жалеть,

Пулеметные дорожки расстеливать,
Беяков у сосны расстреливать.

Паровоз начеку, ругает вагоны,
Волокёт Колчаку тысячу погонов.
Он идет впереди, атаман удалый,
У него на груди фонари-медали.
Командир-паровоз мучает одышка,
Впереди откос — «Паровозу крышка!

А пока поручики пиво пьют,
А пока солдаты по-своему поют:
«Россия ты, Россия, российская страна!

Соха тебя пахала, боронила борона.
Эх, раз (и), два (и) — горе не беда,
Направо окоlesiца, налево лабуда.

Дорога ты, дорога, сибирский путь,
А хочется, ребята, душе вздохнуть.
Ах, сукин сын, машина, сибирский паровоз,
Куда же ты, куда же ты солдат завез?
Ах, мама моя, мама, крестьянская дочь,
Меня ты породила в несчастную ночь!

Зачем мне, мальчишке, на жизнь начихать?
Зачем мне, мальчишке, служить у Колчака?
Эх, раз (и), два (и) — горе не беда.
Направо окоlesiца, налево лабуда».

...Радио... говорят...
(Флагов вскипела ярь):
«Восьмого января
Армией пятой
Взят Красноярск!»

Слушайте крик протяжный —
Эй, Россия, Советы, денкиныцы!-
День этот белый, просторный, в морозы
наряженный,
Червонными флагами выкинулся.

Сибирь взята в охапку.
Штыки молчат.
Заячьими шапками
Разбит Колчак.

Собирайте, волки,
Молодых волчат!
На снежные иголки
Мертвые полки
Положил Колчак.
Эй, партизан!
Поднимай сельчан:
Раны зализать
Не может Колчак.

Стучит телеграф:
Тире, тире, точка...
Эх, эх, Ангара,
Колчакова дочка!

На сером снегу волкам приманка:
Пять офицеров, консервов банка.
«Эх, шарабан мой, американка!
А я девчонка да шарлатанка!»
Стой!
Кто идет?
Кончено. Залп!!

Целостный анализ прозаического текста

А. Уткин

ПРИБЛИЖЕНИЕ К ТЕНДРЕ

Человек в парусиновых штанах сидел на цементной ступеньке белого егерского домика, в жидкой тени молоденькой шелковицы, ел абрикосы и смотрел в ту сторону моря, куда лошадиной шеей загибалась Тендровская коса. Одряхлевшая собака, давно равнодушная к своим обязанностям, ленивым движением палевых старческих глаз провожала косточки, летевшие в чертополох за ржавую рабицу. Уже неделю этот безымянный человек околачивался на побережье, расспрашивая рыбаков, как перебраться на Тендру. На ночь заходил в маленькие степные деревеньки, замкнутые в черешневых садах, или оставался на берегу, душно пахнущем водорослями, и, напрягая зрение, смотрел в море, надеясь уловить проблеск маяка.

Он не мог себе дать отчет, зачем ему это надо. Даже не мог сказать определенно, как его сюда занесло. Еще меньше его объяснения говорили рыбакам. Само слово Тендра заманивало, как русалка, но ничего не обещало. Его этимология никак не поддавалась ухищрениям памяти, но тем пленительнее было носить его в себе и подбирать отмычки.

Если принять за навверное, что скифы в море не выходили, то этот маяк, устроенный еще греками, должен был казаться им каким-то Элизиумом, никак не доступным с суши, обиталищем сурового божества, и когда зажигалось его далекое, одинокое око, они, вероятно, прикрывали детям глаза суеверными ладонями и сами отворачивались к ревнивому земному огню очага, глодавшему сырые кизяки.

Из рассказов, чья скупость, несомненно, была рождена недоумением перед его пристрастной праздностью, он уже знал, что много лет назад на косу перебрались лошади, расплодились и одичали и ходить поэтому по косе этой в узких местах небезопасно; но, впрочем, зная еще многое, не знал совершенно, какие они на самом деле, эти лошади, обитатели этой косы, кто их питает и поит, как они развевают хвосты и что делают со своими павшими собратьями, как светит маяк и что можно понять или почувствовать, привалившись влажной спиной к пористому внутри подножию, глядя, как, укладываясь, ворочается море, как одиноко, отстраненным достоинством горит Полярная звезда, словно бы осознавая свое предвечное предназначение.

Ничего этого он не знал, да и бросил об этом думать.

Но временами перед глазами словно бы возникали одичавшие лошади, до конца времен заключенные на узкой песчаной косе. Он представлял, как неистово меряют они ее, свою темницу, диким бегом, сотрясая потаенную основу, разбрызгивая белый песок, как пьют дождевую воду, скопившуюся в снарядных воронках, жуют желтыми зубами бледную острую осоку, на ночь кладут головы друг другу на шеи и не шевелясь стоят под звездами, под белесоватыми разводами Млечного Пути.

Рыбакам сложно было понять его упрямство. Они задумывались, морщили лбы, махали прокопченными руками в сторону Тендры, поглядывали на карманы его белых парусиновых брюк, где, по их мнению, таилось вознаграждение — сам размер его отпугивал их, — покачивали головами, выглядывая в бинокли пограничный катер, переносили отплытие со срока на срок, как будто собирались навечно — за золотым руном, на поиски Лавиния, в Галлиполи, на Лемнос, — за Геркулесовы столпы, к черту на рога.

Попадались и такие, которые вели себя так, как будто он по незнанию гнетущего всех здесь обычая задавал какой-то неприличный вопрос. Ничего не объясняли, загадочно морщились, словно предоставляя ему самому догадаться о невозможности исполнения его желания. Но догадки его не посещали. Да и желание утеряло уже всю легкомысленность прихоти, потому что соленая пыльца сплошь покрыла локти и шею.

Днями он бродил по желто-красным солончакам, намотав на голову просоленную майку, забирался на курганы и выглядывал на горизонте нежно мреющий, прерывистый штрих этой загадочной косы, словно бы повисшей в воздухе. Курганы зияли дырами раскопов, словно пробитые

черепа, во впадинах криво стоял татарник, но он был уверен, что коричневые кости никуда не делись, оставлены грабителями на месте и спокойно почивают в своих могильниках, обобранные раз навсегда и тем застрахованные от дальнейшего беспокойства. Ходить по этому кладбищу было весело и покойно, а сама смерть казалась отсюда дальше и призрачней, чем когда-либо. Можно было зайти в воду и бесконечно долго брести по колено в горячей воде. И это тоже было кладбище; будто бы один из офицеров Ушакова сказал: “Увидеть Тендру и умереть”. И многие тогда действительно умерли. Водоросли темными лентами устилали волнистое дно и шевелились едва заметно, когда ветер скользил по просвеченной лимонным солнцем воде. Мористее виднелся заброшенный плавучий док, черный до полудня, серо-фиолетовый к вечеру, издалека похожий на змееобразный лесистый остров, обращенный к берегу своим торцом.

Море без единого клочка паруса или точки, молчание курганов, безлюдие желтеющей степи – эта лаконичность повергала душу в восторженное оцепенение. И казалось, что все, что уже минуло, произошло на глазах, а то, чему должно было случиться, свершалось в эту секунду. Впервые в жизни он ничего не ждал, никуда не спешил, а то, о чем беспокоился, жило уже своей, отличной от его, жизнью.

Обратный билет, уже просроченный, он носил с собою, превратив его в бледно-желтую истрепанную трубочку непонятного назначения. Иногда для чего-то разворачивал ее и смотрел на цифры, которыми был зашифрован его отъезд, а потом опускал его на прозрачную воду, наблюдал его покачивание на мельчайшей зыби, а когда надоедало, следил по часам, сколько времени он сохнет, как залитый в форму гипс, сохраняя очертания последней волны.

И так проходил день за днем. Мысли его вскипали от недоумения, от солнечного жара, пенились, как волны, и подавались назад, ожегшись о сопротивление чужеродной стихии.

И в иные мгновенья он готов был согласиться, будто владела им блажь, сводило с ума всевластие вымысла.

И ему стало казаться, что самое это место, куда он так стремится, доступно далеко не каждому и что одного желания попасть туда недостаточно. И более того, существует ли оно вообще? И чем больше он думал, тем страннее казалось ему это сочетание: остров Тендра. По отдельности все виделось и слышалось понятным – остров, Тендра. Но когда запятая исчезала, как с небосвода июльская звезда, словосочетание как бы из легких выдыхало воду...

По вечерам солнце упиралось в море столпами голубого света, косо уперев их в зеркальную поверхность, словно сопротивляясь неизбежному падению в бездну горизонта. Но время оказывалось сильнее, подпорки эти истаявали в потоках стекающей лавы. Шар тяжелел, наливался красками увядания, величественно опускался в пустом небе, краснея от напряжения, пропадал за Кинбурнской косой и долго выглядывал оттуда пурпурным заревом.

Он возвращался в карман залива, единственная стрелка его удивительных часов, как светляк, зажигалась зеленым фосфором. На ночь слушал мягкую речь хозяйки — были, которые память ее берегла среди забот и превращений существования. Как плескались парусами летучие шаланды, как полоскалась кефаль на их скользких днищах, как крейсер “Кагул” — бывший мятежный “Очаков” — громил большевистскую батарею у Каховки. Как плыл в Скадовск транспорт “Молдавия”, спасая одесских евреев, как мучительно погибал “Красный Казанец”, загнанный на остров Долгий немецкими самолетами, как в жарком воздухе умирали его моряки, а потом море день за днем отдавало их по очереди, по одному, и всех их дочери рыбаков уложили в соленую почву, не поставив ни звезд, ни крестов. И он выслушивал ее жизнь, делая поправки в своей скудной летописи. Глядя на ее лицо, иссеченное впадинами и расщелинами морщин, как кусок высокого побережья, невозможно было не поверить, будто у земли есть край. И он с невесомой грустью думал о том, как прекрасен бывает мир и как жалко бывает его покидать.

И думал, что в эту самую минуту маяк уже выталкивает свой свет в темноту, и сердце его сжималось тоской по его прохладе.

И уже почти сквозь сон слышал эти ее слова: “Что ты будешь робить с цим життям?.. Умру,

умру, хибя останусь?.. Жива ж в землю не полезу”.

Сахар, сахар за пять гривен, “ты бачишь?”, — солью посыпанное небо, и вдруг выныривала непонятно из какого времени взявшаяся бессмысленная шансонетка: “Ах, Жорж, я так устала, возьми меня назад — в чертог империи, в блаженства дивный сад”, и снова — по пяти гривен сахар, и снова привязчивая из недавней курортной недели: “Не верь, не бойся, не проси, не верь, не бойся...” И, “знаете”, хотелось сказать кому-то, засыпая, — “все пустое, абсолютно все. Даже сон”.

Но потом являлась она — с бронзовыми волосами, туго забранными на затылке на греческий манер, в золотой диадеме скифов, и Полярная звезда, сиявшая в изголовье, осеняла лицо с неуловимыми чертами блаженством любви, мощью материнства, — с витой гривной на крепких ключицах, под стройной высокой шеей, и рекла разверстыми устами курганов, растворенными царскими вратами, языцами колоколен, распахнутыми пастями капищ грозно и ласково: “Верь, не бойся”, словно бы приглашая перешагнуть залив и увязнуть вместе в кремовом песке косы, в струях покорно распущенных своих волос. И за дуновением этого голоса хотелось идти без оглядки, волнуя шелковистый ковыль.

Во сне он видел разных людей; некоторых он знал хорошо, некоторых совсем не знал. И она тоже приходила к нему во сне, уже без диадемы, и голос ее был не грозен, но просто ласков. Лица ее он не мог разобрать. Говорила с ним тихо, словно жалея его, как если бы у него, у них случилось только им одним понятная радость, с которой оба вынуждены расстаться. И причастность их друг другу была несомненна. И несомненной была неисчерпаемость встречи, суетность, случайность всех разлук. Они сознавали неизбежность того, что должно произойти, и он разговаривал с ней словами, которые раньше всегда боялся произносить.

Милая, милая, ты пришла. Я любил тебя всегда, просто не знал об этом. Просто забыл. Ты прошла по стольким дорогам, но ведь и я шел к тебе. По медной степи, под гремящими небесами.

И как ее звали, и кто она была, он тоже не очень понимал. Он мог бы назвать разные имена, и все оказалось бы правдой.

Но все же этот мысленный разговор будоражил его радостью, и он просыпался от счастья, в убежденности, что он не одинок, как были не одиноки до него все эти люди, устлавшие степь и дно мелководий своими костями, изглоданными едкой солью, высосанными корнями полыни. Хотелось плакать от этого чувства, сознание неслышно бредило бродячей блоковой строкой: “...радость будет... в тихой гавани все корабли...” — и, убаюканное, незаметно окуналось в сон и лежало на его волнистой поверхности, как просроченный билет на просвеченной солнцем воде. И лишь одно беспокоило: как и где искать ее после пробуждения, но он знал, что уже найден он, и успокаивался бездумной уверенностью ребенка.

И было в эти мгновенья совершенно ясно, что будет так до тех пор, пока недоступный тот маяк роняет свой белый свет на поверхность цветущей воды, пока кобылицы, не знавшие узды, встряхивая спутанными гривами, пьют лунный свет из песчаных воронок и мечутся над ними в поисках пристанища черноголовые чайки...

Как-то ночью он не выдержал и пошел на берег, надеясь увидеть хотя бы свет маяка и напиться им, как часовая стрелка. Он стоял неподвижно, высматривая этот короткий, как удар, толчок света и тринадцать секунд мрака, который — был бы свет — он отличил бы от этой вязкой темноты вокруг, развалившейся на полыни, обложившей курганы воском осиных сот. Но только вязко пахло тиной, и ноги утопали в ней, как в многолетней хвое. К горизонту сползали плотные облака, и тьма там держалась непроницаемая, так что глаза уставали и начинали фантазировать грязно-розовыми полосами заката или просто фиолетовыми пятнами. Даже звезды сквозь тонко размазанную облачную пелену светили мутно, как через стекло хаты, где он ночевал. И только на противоположном берегу залива утло помаргивали огни полузаброшенных хуторов и далеко на северо-западе в небе разливалась зелень Очакова.

И то, что он не видит свет маяка, его угнетало и рождало в то же время ощущение, что он и вправду стоит у пределов зримого мира, и постигать большее не было сил.

Засыпая той ночью, он был уверен, что предстоит непогода, однако день наступил, как и предыдущий, залитый солнцем от и до, как человек, умеющий наутро выполнять обещания, данные накануне хмельным вечером.

Он напился чаю и пошел по степи к кордону заповедника. Берег здесь возростал над морем метра на полтора, и полоса под изъеденным, избитым волнами обрывчиком была увалена водорослями.

Егерь появился под вечер, хмуро поздоровался, сунув вялую ладонь, и, отведя глаза, сказал, что он тут недавно, на Тендре не бывал, плыть туда не хочет, потому что боится мели, и во взгляде его открыто читалось: не проси. Это подтвердила его жена, со значением поглядывая на небо, и как бы в извинение пригласила пообедать.

На обратной дороге он пригляделся к цветкам чертополоха, отметил, как далеко колючки отгибаются от лилово-пурпурных корзинок, предрекая погоду, и покачал головой, вспомнив егерскую жену.

“Тож ты чуешь, сынок, чи ни, усю жизнь здесь прожила, а на той Тендре не була. А ить рыбачила с чоловіком, и усе...” — утешила его хозяйка и тяжело вздохнула, надолго задумавшись о чем-то своем.

И снова начиналось утро, и стрелка невозмутимо чертила круги в отведенном ей месте циферблата. Солнце, умывшееся в водах всех океанов, отдохнувшее и помолодевшее, взлетало над степью, сзывая под свои лучи крапчатых ящериц, просовывало пальцы между веток, забиралось под рваную сень винограда, целовало абрикосы в бархатистые веснушчатые щеки, проникало мутноватые стекла в синих рамах, дотрагивалось до бугристых стен, золотило кусочки соломы, впеченные в побеленную глину.

И очередной день наступал заведенным порядком, соперничая в блаженстве с мудростью снов.

И тянулись по берегу изумрудно-зеленые заборы камыша, белоснежные столбы жирных мартынов в его провалах, на горизонтальных полосках, желтых от песка, черных от водорослей, — сапфировое дыхание воды обжигало взгляд своими непроницаемыми оттенками, и только когда разводило зыбь, глаза отдыхали на белых гребешках, рябивших загустевшую синеву моря.

И он опять срывал голубоватые метелки полыни, растирал в пальцах и осязал сладкую горечь пересушенной земли, и рыбаки уже не обращали на него никакого внимания, избегая встречаться с ним глазами.

На девятый день он отступился, повиновавшись неизбежности, которую никак не мог себе объяснить. Был понедельник, день невозможный и не существующий для жителей любого побережья. Колючки чертополоха плотно прижались к головкам цветов, и из степи надвинулись сизые, войлоком свалывшиеся облака. За окном машины текли поля, рассеченные шпалерами тополей в белых линиях гольфах. “Ах, Жорж, я заскучала”, — голос размалеванной женщины томил малиновых дроздовцев, топивших свои предчувствия в разбавленном вине. Но водитель, который его вез, не слышал этого голоса. Он проследил его взгляд и кивнул головой на заросшие поля. “Раньше Богу не молились, — сказал он, мрачно усмехнувшись, — так он шел как по заказу. Теперь молимся – хоть бы что”.

В городе, два столетия назад окрашенном красной охрой, оказалось пасмурно и малоллюдно. Он купил себе новый билет и больше не сворачивал его трубочкой.

Собиралась гроза; притворенные окна вторых этажей медленно моргнули отражениями низко летящих птиц. Капли ливня, как степные разведчики, упали осторожными шлепками на широкие толстые листья, а потом низринулись в неисчислимом количестве и истоиво ударили по мостовой. Продавщицы в голубых передниках встали на порогах своих лавчушек, сложили на груди руки и, зябко поводя голыми плечами, смотрели вдоль улицы. Потоки воды, сплетаясь в косы, бурливо задерживались у стоков, как у стен неприступных, не сдающихся городов, и струились дальше в Днепр по покатым улицам, сметая тротуары. Девушки скидывали туфли и бежали босиком, мужчины

шествовали так, отдавая на волю стихий ботинки, кроссовки и сандалии. Кто-то искал спасения под стенами, находил его под карнизами, на серо-сухих цементных островках, у исполинских стволов платанов, шелушащихся коричневой папиросной корой; люди забивались под пестрые зонтики кафе, изумленно озирая свои намокшие одежды и проводя ладонями по волосам.

Циферблат его часов давно уже покрыли капли, брошенные с проезжей части затонувшей машиной, но под толстым стеклом секундная стрелка, тонкая, как звездный луч, уверенно шагала куда-то в ей одной ведомую невообразимость. Часы умели измерять глубину, высоту — все это, впрочем, до определенных пределов, — указывали стороны света, местоположение в пространстве, однако пока не отвечали на тембр голоса, не ведали тональности причастий, не различали оттенки Марса, цвет доспехов его, и им оставалась неведома власть тьмы.

Пиво, которое он пил со всеми другими под зеленым зонтиком, называлось “Сармат”, легонько щекотало горло и совсем не пьянило, потому что пьянил за него оглушительный дождь. Одурманенный своей неудачей, он вспоминал курганы, початые алчностью или любопытством, и старался припомнить, какую разницу находит наука между скифами и сарматами, а потом, глядя на этикетку бутылки, принялся соображать, где, под какой звездой сгинули народы, столь же бесчисленные, как капли этого дождя, и куда деваются закрывающие горизонт стада, вереницы скрипучих кибиток, и кто перебирает поколения, как зернышки четок, в скрюченных, сведенных подагрой пальцах, или, может быть, вот эта тоненькая стрелка — он глянул на часы, и она, захваченная врасплох, испуганно замерла под его взглядом, а потом неуловимым толчком догнала, восстановила свое положение в пространстве, — короткими рассчитанными движениями отмеряющая сроки, или заунывный след кочевой кибитки, ползущей по берегу между курганами мимо света, доносящегося из пучины моря, — след, кажущийся непрерывным и беспредельным, кончающимся только там, где кончается степь. Куда все уходит? Потом и их, ушедших, кто-то сменил, — ах да, кажется, готы, потом половцы, или кипчаки, или куманы...

Но пиво все-таки называлось “Сармат”, а названия — не пустые звуки. Сармат. “Мат. Там. Матрас. — Играть в слова с этим выходило быстро и просто. — Матрас. Надо было просто”. Надо было покупать надувной матрас и плыть к ней на нем. Город Тарс на берегах холодного Кидна, писал Страбон. Он поглядывал на этикетку, и вместе с напитком в него вливалась досада, и мысли заволакивало сознанием, что ему не суждено увидеть Тендру, путь туда ему заказан, прегражден какой-то ошибкой или невольным прегрешением.

И словно бы видел, как смотритель маяка, чей облик невообразим, сидит на песке на камышовой циновке и ждет, когда потухнет заря; в зубах у него варган, он оттягивает костяную пластину и отпускает палец, и меланхолично раздается над простором воды: тен-н-н...дра-а... тен-н-н...дра-а... Лошади, слышав этот щемящий медлительный зов, прядают ушами и поднимают морды. Им нравится этот звук. Им они любимы. Только ему они послушны. И он, не переставая считать их, незаметно для себя начинает раскачиваться, угадывая ритмы земли.

Дождь прекратился, долго еще стекая с веток тополей, но едва посветлело, и грохочущий сумрак грозы превратился в сумерки вечера. Он шел к гостинице, свежесть наполняла улицы, ставшие спокойнее и шире. Вопросы, которые он только что задавал себе, показались такими вечными, что стало даже неудобно об этом думать. Он спустился к набережной со спичечный коробок, зажатой доками, и облокотился на перила у памятника первому кораблю, который тоже носил название. На барельефе постамента бородатые плотники с тесьмами на длинных, благообразно расчесанных волосах ворочали бревно мачт и тесали шпангоут, а солдаты в треуголках, с фузеями в руках то ли сторожили эту работу от близкого неприятеля, то ли ждали погрузки, почему-то устремив орлиные взоры в противоположную от моря сторону.

Со стороны Никополя и впрямь показался прогулочный катер и водил вздернутым носом, словно приносясь к ветру, гнавшему поверхность Днепра против течения, как бы не решив, приставать ли к причалу здесь или бежать вниз на Голую пристань.

И все-таки, перебивая испаряющийся хмель, в нем сквозило упрямое сознание, что вот-вот ему открылась такая тайна свободы и любви, которую многие люди ищут всю жизнь и не могут найти, и

что с этим делать, он пока не знал. Да и определить ее толком все еще не мог. “Что?” — спрашивал он мысленно и напряженно прислушивался к ответу, к неслышному току древней реки, чтобы переложить его в слова, хоть как-то доступные его разумению. У стенки набережной на черной воде покачивались два окурка, пластиковая бутылка и обрывки водорослей и трав, похожих на махорку.

“Не верь, не бойся, не проси”, — заклинали, перехлестывая друг друга, высокие истошные голоса, и барабаны сопровождения прошибали стены ночной дискотеки. И казалось ему, еще одно усилие разума, одно неистовство чувства, и — “тен-дра” — мелодично щелкнет замок, его волшебное звучание останется с ним и то сокровенное, что уже владело им, навсегда изменит его жизнь. За спиной слышался какой-то шепот, и он подумал, что это парочка влюбленных соперничает с каштановым шелестом листвы. На шепот он оглянулся, желая удостовериться в своей правоте, но не успел додумать этого. В голове его вспыхнуло, и на волосах выступило пятно, в свете удаленного фонаря принявшее окраску цветка татарника на пробитом заступом кургане. И туда, откуда просочилась и потекла эта пурпурно-лиловая влага, протиснулся бронзовый голос, как будто в прорезь почтового ящика успели втиснуть письмо, треугольником сложенную похоронку, или кто-то успел вскочить на подножку уходящего вагона, пока торопливо, скручивая браслет, снимали часы и выворачивали карманы парусиновых брюк: “...верь, не бойся...”, “...не...”.

“...верь, не бойся...” — обдало всю его внутренность этим вещим рыком, заглушая все прочие звуки земли. И от этого голоса, как от непривычной ласки, снова где-то далеко в провалинах курганов вздрогнули и качнулись цветки татарника, задохнулся ветер и дунул сам на себя, и степь выгнула спину.

В речной воде тело похолодело и подтянулось. Штанины то вздувались пузырями, то, послушные смене галса, облегали ноги длинными складками. Река то вытаскивала его на стрежень, то подталкивала к берегу — совсем как тот пароходик, который мелькнул ему на прощанье разборчиво освещенной рождественской елью.

Но Днепр и сам не знал, где кончается он и начинается что-то большее. Его протащило по плавням, через камыш, под старыми вербами. Зацепившись за крюк Кинбурнской косы, гнилистый лиман покачал его в раздумье и передал плотным, упругим морским водам.

Около Очакова по нем безучастно скользнул пограничный прожектор, и луч его не вернулся, побежав дальше к западу.

Через день ветер переменялся, и горячее солнце опять вызолотило и выгладило мелкое море.

Ни сети, ни рыбы, ни крабы не тронули его. Убранный узкими лентами водорослей, он плыл до тех пор, покуда на мокрый лоб его не пала блеска далекого еще света, рассыпавшись на соленых каплях сверкающим бисером. И если бы он сохранил способность видеть, он различил бы ясно, как прямо перед ним выросла из воды коса, как восстал черный шест маяка и на его верхушке вспыхнул и погас белый свет, а потом тринадцать секунд собирался с силами в гулкой башне из рассыпчатого ракушечника. И в эти доли времени белый проблеск зажигал его глаза холодным неземным огнем, равнодушному свету которого внимают трепещущие сердца моряков и который означает для них спасение, дарует им жизнь и который они, обнимая бушприты, одушевляют в краткие минуты ликования.

Волны, мягкие, как складки погребального покрывала, торжественно сменяясь, несли его к серебряной песчаной полосе. Покров чистой ночи переливался звездами. Время от времени иные из них срывались и устремлялись вниз, цепляясь за своды колючими оранжевыми хвостами.

Из темноты, словно ею и рожденные, вынеслись лошади и встали на берегу.

В сияющей тишине, укутав копыта в пене прибоя, печальными глазами следили они за его приближением к Тендре.

Творческое задание

Напишите статью «Сонет» для словаря литературоведческих терминов. Назовите основные признаки жанра. Кто из поэтов обращался к жанру сонета? Приведите свои примеры.

Критерии оценивания.

1. Основные признаки жанра - 10 баллов (0 — 3 — 7 — 10).
2. Уместность и количество приведенных примеров – 10 баллов (0 — 3 — 7 — 10).
3. Стилль. Отсутствие речевых ошибок - 10 баллов (0 — 3 — 7 — 10).